

РЕВОЛЮЦИОННАЯ РОМАНТИКА УСОМНИВШЕГОСЯ

Среди советских писателей 20-30 годов прошлого столетия, любивших при каждом удобном случае напоминать о своем революционном прошлом или участии в битвах гражданской войны, у Александра Воронского были для подобных "лирических отступлений" особые основания: он знал самого Ленина. И, сокрушаясь о положении профессиональных революционеров в эпоху между двумя революциями: "... было очень трудное. Нас окружали трусы, предатели, осевшие мещане... Наши кружки казались жалкими...", он словно лишь оттягивает минуту торжества, исподволь подводит к откровению: "Но недаром же где-то в швейцарском городке человек со шурким и веселым взглядом, вместе с небольшим кругом своих сподвижников, никогда не усомнится в нашей победе. "Там" наш ум, наша воля, наша власть. Сидя в комнате с Марией Ильиничной Ульяновой, я соприкасался в этой, нашей властью. Не признанная, не установленная никакими учреждениями, она была для нас непреложна".

Лениным Воронский "проверял свои мысли, чувства, недоумения". После смерти вождя, особенно в годы сплошной коллективизации и головокружения от успехов, когда недоумения, так сказать, превзошли и мысли и чувства, делать это стало трудней. Но живое воображение, память о бурном прошлом и ностальгия по нему помогают писателю творить культ и миф покойного вождя, поднимая его образ на недостижимую для грехов и грязи окружающей действительности высоту. По-ленински боровшийся за материализм и партийную литературу Воронский в пору их трескучего торжества как раз в их полезности для России и усомнился. Но с Ленина тут уже не спросишь, Ленин за перегибы не ответчик, Ленин - это свято. Отсюда выходит святым, чистым, непорочным и чудесным прошлое, и современность, которой уже не дано купаться и нежиться в лучах "шуркого и веселого взгляда", во всех отношениях ему уступает. Но та же память о подпольно-героической молодости, но тот же светлый, а по сути, ослепляющий образ мешают по-настоящему осмыслить прошлое, осознать, что грехи и грязь нынешней действительности - не только наследие рухнувшего режима, но и следствие собственных заблуждений и пороков. Словно возникают два разных человека, однофамильцы: молодой Воронский и зрелый, пожилой Воронский, а между ними непреодолимая пропасть. Молодость нисколько не сливается со зрелостью, нет ощущения, что перед нами одна личность, проходящая свой единственный и неповторимый земной путь. Поэтому в своих воспоминаниях, предусмотрительно снабженных уведомлением, что они "с выдумкой", Воронский, человек уже поживший и давно растерявший свое детско-юношеское безрассудство, словно не способен задумываться о неблагоприятных поступках, совершенных им в раннем возрасте. Все сомнения в их целесообразности - исключительно оттуда, тогда, на месте преступления, на минутку-другую одолевшие бесчинствующего подростка. Нравственность старого человека, веселящего свое сердце перебиранием былых подвигов, по-юношески робка и застенчива, даже как-то неуместна, готова тут же смениться каким-то уже старческим умилением нелепыми и злыми выходками зарвавшегося юнца. Это даже странно в умнейшем критике и писателе, вполне умевшем отделять овец от козлиц в современной ему литературе. Но что поделаешь! Надо отделить и прошлое, обособить, чтобы потом уже спокойно, без колебаний и без всяких намеков на чувство вины заключить его в золотую обертку, выставляя на всеобщее обозрение. Этому литературно-историческому приему научила революция, объявившая, что не человек как таковой, а самодержавие и эксплуататорские классы повинны во всех грехах смертных. Воронский в молодые годы бил стекла в казенных зданиях, притеснял слабых, обижал девчонок-гимназисток, не гнушался воровством. Это потому, что он был бурсаком, а бурсаком его сделали невыносимые условия жизни в царской России.

В это прошлое, святого в котором - лишь имена героев-мучеников борьбы с царизмом, можно перебросить воздушный мостик, сотканный из ностальгических чувств и романтических представлений. Потребность в этом тем более сильна, что современность как-то мало отвечает запросам души и далеко не соответствует мечтам, которые возлагались на будущее в пору недавней проклятой старины. Но что-либо похожее на связь времен при этом едва ли могло возникнуть: революция продолжалась в требовании жить настоящим, в требовании разрыва с прошлым, получившем известную одностороннюю оценку. И коль в прошлом ценно лишь то, что привело к победе революции, не грех, видимо, и создать его упрощенную, а вместе с тем изысканную и по-своему напряженную картину. Поэтому в продолжающем воспоминания и уже увлекающем их в сферу чистого художества рассказе "Бомбы" место действия предстает в странно и как-то свежо очищенном виде, даже без примет того старого, прогнившего мира, который Карл Маркс и Эрфуртская программа призывали решительно взорвать, не то чтобы неким первозданным уголком, а вообще, скорее, никаким. Лишь ссыльные революционеры